

## РОССИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

*А.Н. МЕДУШЕВСКИЙ*

## **Феномен большевизма: логика революционного экстремизма с позиций когнитивной истории**

Феномен большевизма как одной из исторических разновидностей революционного экстремизма раскрывается в статье с позиций когнитивного анализа. Вопреки существующим в литературе социологическим объяснениям, автор реконструирует динамику большевизма с позиций внутренней мотивации поведения его adeptов – в рамках конфликтного соотношения идеологии и исторической традиции по таким параметрам, как ценности, психологические установки, цели и средства их достижения.

**Ключевые слова:** коммунизм, большевизм, ленинизм, фанатизм, экстремизм, терроризм, революционное сознание, догма, конструктивизм, когнитивная история.

Bolshevism as a historical variety of extremism is interpreted in this article on the basis of cognitive approach. In contrast to the existing sociological explanations of that phenomenon the author reconstructs the dynamic of Bolshevism in perspective of internal motivation of adaptors behavior – in a framework of conflicting relations between ideology and historical tradition regarding such parameters as values, psychological stereotypes, targets and methods of realization.

**Keywords:** communism, bolshevism, leninism, fanaticism, extremism, terrorism, revolutionary spirit, dogma, constructivism, cognitive history.

В силу уникального стечения обстоятельств большевикам удалось захватить власть в России и поставить эксперимент по построению коммунистического строя в традиционном аграрном обществе. Согласно определению В. Ленина, большевизм как течение политической мысли и соответствующая партия существует с 1903 г., а само понятие вошло в политическую лексику после того, как большевики в результате раскола на II съезде РСДРП образовали в ней самостоятельную фракцию. Современный интерес к данному феномену, связанный с юбилеем основания партии, не привел к единству оценок: одни по-прежнему продолжают считать большевизм закономерным результатом исторических противоречий, другие – рассматривают его утверждение как спонтанный социальный срыв, исказивший логику исторического развития. Смысл феномена большевизма, однако, нуждается в новой интерпретации в контексте современного опыта экстремизма и терроризма. Она возможна с позиций теории и методологии когнитивной истории [Когнитивная... 2011]. Хотя большевистский эксперимент оказался полностью несостоятелен, научное значение имеет анализ мотивации

---

*Медушевский Андрей Николаевич – доктор философских наук, ординарный профессор Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики.*

осуществления важнейших компонентов замысла. Когнитивные психологи считают, что процесс постижения реальности включает этапы конструирования, посредством которых создается интерпретация материала, и утилизации, когда эта интерпретация соотносится с другими знаниями для использования в новых ситуациях. С данных позиций в статье проанализированы процессы формирования большевистского режима в рамках конфликтного соотношения идеологии и исторической традиции по таким параметрам, как ценности, установки, цели и средства их достижения.

### **Разум и революция: границы конструирования реальности с позиций социального идеала**

Формирование жестких мобилизационных идеологий требует известных социальных предпосылок – перехода от одной системы социальных норм (уже утративших доминирование) к другой (которую стремятся насадить революционеры). Особенность авторитарных идеологических доктрин, возникающих на пике революционных ожиданий, – подавление индивидуальной свободы во имя некоего высшего идеала. Для всех конкретных исторических проявлений подобных идеологий в разных странах характерны три содержательных компонента: жесткое неприятие традиционного мира и доминирующих в нем образцов социальных отношений; глубокое недоверие к человеческой природе и опасение грядущей социальной катастрофы; и наконец, стремление набросить на шею человечества ярмо новой абстрактной политической дисциплины. Она должна иметь добровольный характер, который вытекает из сознательного принятия индивидом данной идеологии, однако в случае отказа должна быть внедрена в общество путем репрессий – государственного “перевоспитания”, основанного на абстрактных идеологических постулатах и жестких религиозных (или квазирелигиозных) моральных нормах и дисциплине.

Именно эти признаки характерны для основных революционных доктрин – кальвинистов и английских пуритан XVI–XVII вв. с их верой в Божественное предопределение; французских якобинцев XVIII в. с их представлениями об абстрактных и вечных законах разума; русских большевиков XX в. с их верой в постулаты исторического материализма и неизбежной победы коммунизма; наконец, современных фундаменталистов, воззрения которых имеют много общего со всеми предшествующими попытками обоснования революции. Появление подобных экстремистских течений, идеологию которых один автор определил как “революционную святость”, – само по себе – выражение кризиса старого общества [Walzer, 1966]. Оно отражает стремление наиболее оппозиционной его части (религиозных или политических диссидентов) объединиться вне пределов традиционной социальной иерархии, разработать новые системы контроля и ценностных ориентаций, разделить мир на приверженцев и противников своей идеологии, и наконец, фанатически строить грядущее царство добродетели. Именно для этих идеологий социальной утопия – неотъемлемый компонент, а их реализация на завершающей фазе революции неизбежно приводила к резкому усилению бюрократического контроля в обществе [Brinton, 1952].

Коммунизм как идеология Нового времени получил свой начальный импульс из традиционалистски мотивированного социального протеста против разрушения привычных аграрных отношений начиная с эпохи английского “огораживания” – приватизации земель, ранее находившихся в общинной собственности, сопровождавшейся сносом населения с земли и созданием резервной армии труда для промышленности. Коммунистическая доктрина имплицитно вобрала в себя идеи естественного изобилия, веры в “золотой век”, якобы предшествующий цивилизации, идеи коллективной собственности и уравнительного распределения, присущие традиционалистскому крестьянскому сознанию всех стран.

Идеологическую основу большевизма составляла созданная французскими просветителями механистическая концепция мироздания – теория отражения в философии, концепция социального прогресса, законов истории, возможности рационального

конструирования общества и проч. Наиболее близкие исторические предшественники большевизма – помимо К. Маркса и Ф. Энгельса – якобинцы Французской революции, такие ее идеологи, как Ж.-П. Марат, Г. Бабеф и Л. Бланки, идеи которых в России были представлены прежде всего радикальным народничеством [Берлин, 2001]. Генезис большевизма выводилась его идеологами из исторических форм социального протеста – восстаний Гракхов, Спартака и Катилены (именно так называли тогда все три события [РКП(б)... 1923, с. 3]), движений религиозного коммунизма (альбигойцы, гуситы, анабаптисты, Т. Мюнцер), крестьянских восстаний С. Разина и Е. Пугачева в России. В Новое время его предшественниками выступали якобинцы, бланкисты и другие тайные общества террористической направленности, в России – “Земля и Воля”, “Народная Воля”. В настоящее время мы располагаем не только опытом самого большевизма, но и сталинизма, маоизма, красных кхмеров, других коммунистических диктатур и леворадикальных течений XX в., что позволяет решить вопрос о соотношении интернациональных и национальных черт данного феномена.

В этих учениях актуализировались проблемы равенства, интерпретируемого как фактическое, а не формально-правовое, практические действия по подготовке заговоров, направленных на осуществление социального переворота, идеи уравнительного перераспределения – “максимума” и проч. Но идеология изменялась в соответствии с практикой: многие ключевые положения марксизма претерпели радикальную трансформацию, включив в рамки ленинизма такие темы, как отношения с крестьянством, проблемы национального строительства, концепцию советской формы государства как антитезы парламентаризма и, особенно, учение о партии “нового типа”.

Тотальность и масштабы претензий большевизма роднят его с современными формами религиозного экстремизма, но не делают их тождественными в силу рациональной и светской природы учения большевиков. Логику действий большевиков следует, исходя из этого, искать в соотношении первоначальных идеологических установок, вызовов со стороны общества и решения практических задач управления, сочетание которых определило возникновение оригинального и полного внутренних противоречий государства под названием СССР.

### **Традиционализм и модернизация: формирование матрицы и правил социального поведения**

Понятие матрицы (рамки или структура, которые задают форму или значение) может быть использовано для обозначения когнитивного или перцептивного контекста, помогающего устанавливать или определять значение ситуации. В случае большевизма она задается, с одной стороны, идеологическими постулатами, с другой – структурой социальных коммуникаций и технологиями реализации программных целей. Особенность идеологии большевизма – сочетание ретроспективного социального идеала (коммунизма) с попыткой рационально обоснованного социального конструирования новых отношений и использованием для этого мобилизационных технологий. Отношение большевизма к науке поражает своей двойственностью: полностью принималась ключевая идея эпохи Просвещения, верившего в возможность открытия постоянных и неизменных законов развития общества (“социальной физики”), и преобразования общества в соответствии с ними (отсюда представления о преодолении “религиозных предрассудков”, неизбежном развитии всей совокупности наук и распространения знаний в обществе). Идеологии, понимаемой, по Марксу, как “ложное сознание”, первоначально противопоставлялось научное мышление – поскольку “всякий нормальный человеческий мозг может понять всю премудрость мышления, – надо лишь рационально ставить дело просвещения” [Адоратский, 1922, с. 210].

В современной литературе большевизм определяется как гибрид архаичного сознания и модернизации, иногда наивно понимается как “социокультурный тотем, способный быстро и справедливо найти выход из кризиса, из раскола общества, но с использованием лишь облегченных смыслов, понятных значимым социокультурным

группам” или просто – “стремление оседлать историю” [Социокультурное... 2002, с. 9–10], причем для реконструкции матрицы большевизма используются, как правило, его собственные идеологические определения или программные установки [Волков-Пепоянц, 1993–1995; Овсянников, 1997; Розенталь, 2005]. Однако интерпретация большевизма как простой традиционалистской реакции на модернизацию и соответствующей “системы потоков смыслов” выглядит чрезвычайно схематично, поскольку может быть отнесена к любому экстремистскому течению – от фашизма до религиозного фундаментализма, а его элементы присутствуют в разных идеологических формах авторитаризма (типа режимов К. Ататюрка, Х. Перона, Сукарно и т.п.).

Специфика матрицы большевизма с позиций когнитивистики состоит в принципиальной установке на социальное конструирование реальности – осуществлении “коммунистического строительства” на основе “научной идеологии”, то есть вполне рациональным способом, что отличает большевизм, с одной стороны, от религиозных доктрин, и с другой – от доктрин, базирующихся на спонтанном и эмоциональном выражении новых ценностей (как фашизм, радикальные националистические или экологические движения или традиционный авторитаризм). Функции соединения идеологии, науки и социальной мобилизации выполняла доктрина диалектического материализма – эквивалент “философского камня” средневековых алхимиков, постулировавшая тотальное (и потому не доступное научной проверке) постижение истины – отождествление законов природы и общества, объекта и субъекта познания, целей и средств, воли и действия. Диалектический материализм как когнитивный стереотип имел для большевизма три существенных достоинства: во-первых, обосновывал своеобразный обскурантизм – отказ от неприемлемых достижений современной гуманитарной науки, объявлявшейся “идеалистическим мракобесием”, а обосновывающих его ученых как нострадамусов XX в. [Невский, 1922, с. 95–100]; во-вторых, давал квазинаучное обоснование “надежных теоретических основ” для “воспитания пролетарского авангарда” [Письмо... 1922, с. 6] и его претензий на господство в рамках так называемого “воинствующего материализма” [Ленин, 1922, с. 5–12]; в-третьих, позволял легитимировать советскую власть как невиданную в истории форму демократии. Выдвинутая в работах А. Деборина ортодоксальная версия диалектического материализма видела в нем учение, призванное теоретически обосновать большевистскую диктатуру как “более высокую ступень культуры” [Деборин, 1925, с. 13]. Но и подход Деборина в конечном итоге был отвергнут в силу недостаточной агрессивности по отношению к уклонистам – представителям “меньшевистствующего идеализма”, “механицизма” и “кондратьевщины” [Итоги... 1930, с. 15–24]. В целом данная догма артикулировала такую “научную” связь идеологии и социальной практики, которая позволяла интерпретировать ее едва ли не любым способом: “Диалектический материализм – вот лозунг передового класса. Материалистическое воспитание масс – насущная задача нашей бурной переломной эпохи” [Баммель, 1922, с. 22–37].

С этих позиций становилось возможным масштабное кодирование информации – преобразование одних ее форм (традиционных) в другие, связанные с их идеологическим переосмыслением. Имел место целенаправленный отказ от нейтральности социологических категорий – навязанный, принудительный характер необходимой трансформации сознания, включая уничтожение или “перевоспитание” целых социальных слоев, которые выступали носителями “старой культуры” и иного “знания”, не вписывавшегося в установки классовой теории. Результатом стал свод правил функционирования новой системы, включавший набор операций, преобразующих предметы, объекты или данные из одной систематической формы в другую; семантическая реконструкция языка и принятых форм диалога; фиксация стереотипного набора стандартов или правил поведения (упрощение, архаизация и индоктринация сознания). С этим связано внимание раннего большевизма к психологии как науке, задача которой “заключается не только в том, чтобы объяснить психику людей, но и в том, чтобы овладеть этой психикой людей” [Корнилов, 1923, с. 50] и, в особенности, к тому, что сейчас получило название когнитивной психологии – направлению, в котором основ-

ное внимание уделяется внутренним мыслительным процессам и их объяснению на уровне психических явлений, мысленных представлений, убеждений, стремлений и т.д. Теоретические эксперименты в области марксистского переосмысления ментальной геополитики [Витфогель, 1929], попытки В. Рейха скрестить психоанализ с марксизмом [Рейх, 1929] дополнялись исследованиями коллективной психологии и мозга, выходящими далеко за пределы бихевиоризма. Опровергая тезис о том, что только голод и жадность являются стимулами для умственного роста, коммунист А. Залкинд выдвигал концепцию “мозговой рационализации” на базе психофизиологической теории в целях “наилучшего использования мозговой механики для целей культурной революции”. Речь шла о том, чтобы научиться подавлять определенные инстинкты и соответствующие формы “беспланового распыления энергии по пустякам (иррадиация – разбрасывание нервно-мозгового возбуждения по широким участкам)”, и напротив, стимулировать сосредоточение этой энергии в желательных направлениях – путем “организации мозговой механики (концентрация-сосредоточение)”, при которой “массовый человеческий мозг” окажется способен “вырабатывать невиданные в человеческой истории качества” [Залкинд, 1928, с. 69].

Данный подход получил выражение в новой системе когнитивных маркеров – гипотетических представлений о психических процессах индивида, обеспечивающих направления обработки информации, формирования системы понятий, языка, стереотипов памяти и концентрации внимания. Главным из этих маркеров стал классовый подход, отвергавший все сомнительные концепции, как, например, противопоставление истории и “классового сознания” Г. Лукача (см. [Деборин, 1924]). Он пропитывал философию, право и искусство, которое начинало рассматриваться как особая эстетическая форма борьбы за самоутверждение класса на новой технической и социальной основе [Фриче, 1926]. Предполагалось, например, что если пролетарий идет в кино, он хочет получить воспитание “культурного социалистического рабочего”, а не “какой-то букет из красивых женщин, их любовников, разлагающихся буржуа и прочей мещанской трещины” [Мальцев, 1928, с. 70–72]. Так продвигались когнитивные ориентиры, связанные с перепрограммированием сознания, достижением мобилизационных и манипулятивных целей. Реализация этого плана исключала сохранение подлинной социологии, представленной в этот период идеями Л. Петражицкого, А. Лаппо-Данилевского, П. Сорокина, К. Тахтарева [Тахтарев, 1919; Сорокин, 2010], дававших доказательную реконструкцию и объяснение социальных процессов в постсоветской России. Основную угрозу коммунизму его идеологи усматривали в идеализме, либерализме и их носителе – интеллигенции, прежде всего университетской профессуре, способной осмыслить ситуацию на уровне понимания смысла [Бубнов, 1922, с. 3–13]. Борьба с интеллигенцией как социальным слоем рассматривалась не только как внутренняя, но и интернациональная задача большевизма [Варга, 1923, с. 62], а ее существование в будущем допускалось лишь в роли “техников социальной организации” [Рейснер, 1922, с. 93].

Следствием ложных когнитивных установок (коммунистическое учение), представляемых как неоспоримый научный вывод (исторический материализм), становится замена доказательных (рациональных) методов познания общества квазирелигиозными (идеологическими) постулатами. Результатом стало появление особой формы магического реализма – такого типа сознания революционной элиты, которое, будучи фантастическим, отождествляет понятия и реальность, порождает необоснованную веру в историческое превосходство, но одновременно – определяет реальное социальное поведение. Этот исторический “комплекс превосходства” (обратная сторона “комплекса неполноценности”) выражается в сверхкомпенсации – системе завышенных ожиданий и поведении, рассчитанном на большее, чем требуется, чтобы преодолеть существующие препятствия. Итогом стали такие когнитивные состояния новой элиты, как завышенная самооценка, мегаломания и нарциссизм, – общий контур позиции большевизма в отношении социальной реальности и способов ее изменения.

## Конструирование нового общества: идеологические стереотипы и социальная практика

Выработка когнитивного стиля (способа решения поставленных задач) происходит по линии конфликтного взаимодействия психологических состояний: сглаживание–заострение; зависимость от поля–независимость от поля, рефлексивность–импульсивность. Стремление реализовать коммунистическую программу как основной первоначальный импульс и мотив большевиков позволяет объяснить не только логику их экономических и социальных преобразований, но и ее следствия для когнитивного самоопределения большевизма. Важнейшими элементами программы, как известно, стали национализация финансово-банковской системы (“национализация” банков), установление государственного контроля над промышленностью (“рабочий контроль”) и торговлей продуктами первой необходимости (хлебный “максимум” и борьба со “спекуляцией”). Эти меры определялись доктринальными постулатами (утопическими представлениями о национализации и государственной собственности как переходе к коммунизму), интерпретацией исторического опыта подобных акций (“ошибки” Парижской коммуны), а также прагматическими соображениями государственного регулирования экономики в чрезвычайных условиях [Протоколы... 1991; 2000].

Первый из этих элементов – захват банковской системы – опирался также на пред-революционный опыт так называемых “экспроприаций”. Захват банков был произведен как военная операция: одновременно и с помощью отрядов моряков. Общим результатом стал паралич финансовой системы. Другим важнейшим элементом программы было – введение “рабочего контроля” над производством со стороны фабзавкомов – институтов, не только контролировавших финансовую сторону предприятий, но и ведавших борьбой с так называемым “саботажем”, обеспечением “трудовой дисциплины”, “политическим просвещением и революционной мобилизацией масс”. Захват предприятий соответствующими профсоюзами, спонтанно начавшими вводить “рабочий контроль” и создавать свои “контрольные комиссии”, вел к перераспределению ресурсов в их пользу [Венедиктов, 1957, с. 143]. Результатом стал традиционный набор недостатков социалистической экономики – уравниловка, дефицит, бюрократизация, падение дисциплины, производительности труда и отсутствие стимулов к нему, бегство рабочих в деревню. Выход усматривался в мерах репрессивного свойства: “Нужно прикрепить рабочих к заводам и не отпускать их в деревню. Коллективам нужно очень хорошо договориться о плане, как проводить трудовую дисциплину”, и т.д. [Национализация... 1958, с. 205]. После того, как фабзавкомы выполнили свою функцию по захвату предприятий, нужда в них отпала. Однако просто отменить их не могли по идеологическим причинам. Вместо этого сужению подверглись рамки понятия рабочего контроля: он не должен был более препятствовать осуществлению функций госадминистрации.

Третий элемент программы большевиков – монополизация внутренней и внешней торговли – породил теневой рынок предметов первой необходимости и сделал актуальной борьбу с неконтролируемой торговлей – “спекуляцией”. Хлебная монополия и ее осуществление стали составной частью продовольственной политики большевиков в годы Гражданской войны. Изъятие хлеба напоминало военную операцию новой власти в покоренной стране. Выдвижение продотрядов, направлявшихся в районы, богатые хлебом, сопровождалось насилиями и зверствами с обеих сторон: массовыми убийствами продотрядчиков и ответными репрессиями – увеличением численности “бойцов продармии”, введением заградительных отрядов для борьбы с мешочниками (1918–1919 гг.). Основным инструментом социальной политики большевиков в деревне в этих условиях стало искусственное расслоение крестьянства с опорой на неимущие слои, получавшие часть изъятой “добычи” [Советская... 2000–2003]. Для этого параллельно с крестьянскими советами (иногда определявшимися как “лжесоветы” или “кулацкие советы”) создавались альтернативные им органы – комитеты бедноты. Подобно фабзавкомам на производстве, комбеды, выполнив свою роль по захвату

деревни, оказались более не нужны большевикам и были слиты с Советами в рамках кампании “перевыборов” сельских и волостных Советов [Институт... 2010].

Идеологические стереотипы не выдержали проверку практикой: осуществление экономической программы “военного коммунизма” в России (как позднее – “большого скачка” в маоистском Китае), ведшее к разрушению рыночных отношений, реставрации натурального хозяйства и голоду, показало иллюзорность первоначальных замыслов большевиков (см. [Круглый... 2012]). Это заставило их, сохраняя верность первоначальным целям движения, изменить тактику – пойти в период НЭПа на “временное отступление” в экономике и “лжетермидор” в политике [Как ломали... 2000], откладывая на будущее реализацию программных принципов и готовя карательный аппарат для их осуществления. Конструктивистский импульс, достигнув апогея, затухает: “Обнаружив, что реальность не похожа на его представления о ней, Ленин решает силой изменить реальность, изменяя прежде всего представление о реальности” [Геллер, Некрич, 2000, с. 56].

На этом повороте включается ряд новых психологических механизмов: сглаживание – затушевывание деталей, при котором то, что остается в памяти, становится более подходящей версией, чем то, что было реально представлено, и замещение одних когнитивных установок другими – защитный механизм, посредством которого социально приемлемые цели замещают неприемлемые. На пересечении идеологических стереотипов и социальной практики сформировался характерный когнитивный стиль большевизма, включавший постепенную подмену декларативных первоначальных целей (коммунизма) не декларированными (но вполне реальными) целями – сохранения власти как инструмента их гипотетически предполагавшегося достижения в будущем.

### **Направления политической социализации: срыв обратных связей общества и власти**

В ходе осуществления предложенной большевиками программы “шоковой терапии” сформировался мощный ресурс недовольства властью, который, однако, не приобрел кумулятивного эффекта из-за различия интересов основных групп протеста. Первый и наиболее серьезный социальный вызов их курсу был представлен крестьянством, отвергавшим навязанную ему модель неэквивалентного обмена. Аграрная революция имела другую траекторию развития, нежели революция в городе. Традиционалистский крестьянский протест в России, как и в других аграрных странах, использовал сходные методы против белых и красных – отказ платить подати и давать солдат новой власти, самосуды, партизанское движение против большевизма как высшую форму [Крестьянское... 1994; Сибирская... 1997]. Там, где крестьяне были предоставлены себе и независимы в социальном выборе (как, например, в “крестьянских” или “партизанских” республиках, возникавших в период Гражданской войны в тылу сражающихся армий, – в партизанской республике на севере Каннского уезда или в деятельности Тасеевского совнархоза в Енисейской области), наблюдались стихийные тенденции к аграрному коммунизму – натурализации хозяйства, уравнительному распределению, общинным или близким к ним формам управления [Организация... 1923, с. 12]. Когнитивный диссонанс в отношении того, что делать с крестьянством, выражался в противоречивой трактовке понятия “равенство”. Если одни, как Г. Зиновьев, усматривали в нем суть “философии эпохи” перехода к коммунизму – “уничтожение классов, новая жизнь, социалистическое равенство” [Зиновьев, 1925, с. 20], то другие, как фанатичный большевик М. Рютин, призывали отказаться от него в условиях диктатуры, ибо последняя есть “обнаженное выражение неравенства” [Рютин, 1926, с. 31].

Второй мощный вызов имел место со стороны рабочих. Отношения между партией и рабочими, сложившиеся на начальной стадии революции, – считает современный исследователь, – были радикально изменены после Гражданской войны. Они организовывались в 1920-е гг. в виде своеобразного неписаного “общественного догово-

ра», согласно которому рабочие сохраняют лояльность режиму и уступают реальную власть принятия решений партии, а последняя в обмен на политическую лояльность обеспечивает последовательное улучшение жизненных стандартов. Принятие данной модели означало пересмотр всей системы демократического участия и переход от «демократии участия» к мобилизационной демократии, при которой институты активной коллективной демократии, с которыми экспериментировали в 1917 г. (Советы, заводские комитеты, рабочая милиция, учреждения рабочей инспекции и контроля) превращались из органов принятия решений в учреждения по их реализации и были подчинены иерархической, часто милитаризованной власти. В результате «рабочий класс был политически экспроприрован; власть последовательно концентрировалась в партии и особенно в партийной элите» [Pirani, 2008, p. 4, 142–143]. Критические высказывания рабочих в отношении большевистского режима хорошо известны, поскольку документировались в секретных отчетах карательных учреждений (см. [Совершенно... 2001–2010]). Рабочие, поднявшие руку на Советы, – ситуация, немыслимая для большевиков с идеологической точки зрения. Для преодоления когнитивного диссонанса протесты рабочих официально интерпретировались как «происки» меньшевиков и эсеров, что позволяло использовать для их подавления весь инструментарий карательных органов.

Третий вызов политике большевиков – со стороны интеллигенции. Этот вызов относится прежде всего к политическим партиям «контрреволюционной» или умеренной направленности, а также широким слоям служащих государственных и общественных учреждений, однозначно не признавшим советскую власть, предпочтя ей эмиграцию. Но в оппозиции оказались и те социалистические партии, которые не приняли предложенный большевиками ограничивающий «договор», выдвинув идею «Третьей революции» (апогеем которой стали Кронштадтское восстание [Кронштадт, 1997; Кронштадтская... 1999], а также серия народных восстаний в Тамбове, других частях Европейской России, на Урале и в Сибири). Механизм трансформации политической системы состоял в организации массовых мобилизационных кампаний против основных оппонентов режима: Церкви (кампания по изъятию церковных ценностей); оппозиционных социалистических партий (процесс эсеров 1922 г.) [Судебный... 2002] и независимых профсоюзов (так называемая «дискуссия» о профсоюзах, завершившаяся превращением их в административный придаток режима), то есть тех институтов предшествующей системы, в которых теоретически могли быть институционализированы альтернативные стратегии развития политической системы.

После подавления внесистемной оппозиции (процессы над оппозиционными большевикам политическими партиями) вопрос о том, какова должна быть корректировка системы, стал актуален для внутривнутрипартийной оппозиции. Его основой стали протесты против внеэкономического принуждения (системы неоплачиваемого труда), формирующегося нового неравенства (неэквивалентного нормирования и системы привилегий), требования возвращения к эгалитарным принципам коммунизма, а главное – возвращение к утраченной свободе дискуссий внутри самой партии большевиков. Осознание системного кризиса режима проявилось в решении вопроса о необходимой степени вмешательства партии в общественную жизнь и государственное управление. Различные модели конструирования политической системы предложили Левые коммунисты и Рабочая оппозиция, добивавшиеся предоставления профсоюзам и фабзавкомам, помимо партии и независимо от нее, решающей роли в руководстве промышленностью; Демократические централисты, выступавшие за автономию советов от партии, в целом – против бюрократического окостенения и централизации системы, различные группы анархо-синдикалистской направленности, например, молодежной оппозиции в профсоюзах. Дискуссия о профсоюзах выявила несовместимость позиции Л. Троцкого, «рабочей оппозиции» (А. Шляпников, С. Медведев, А. Коллонтай), «буферной группы» (Н. Бухарин) и группы «демократического централизма» (Т. Сапронов, Н. Осинский), отражавшую более фундаментальные разногласия о природе нового политического режима [Профсоюзы... 1975, с. 139–140]. Резолюция X съезда РКП(б) «О единстве пар-

тии” (1921 г.) формально пресекла эти дебаты, став “поворотной вехой на пути роста могущества партийного аппарата” [Карр, 1990, с. 169]. Те политические группы, которые активно сопротивлялись такому положению, включая оппозиционных социалистов и диссидентствующих большевиков, были подавлены с помощью силы или маргинализировались и перестали существовать как активная политическая сила. Последующие внутривнутрипартийные оппозиции автоматически переставали быть легитимными [РКП(б)... 2004].

Утрата завышенных ожиданий с началом НЭПа стала нормой в последующее время. Следствием возникающей травмы становится аутистическая фантазия – механизм психологической защиты, которым индивид отвечает на конфликт и стресс, сосредоточиваясь скорее на чрезмерном фантазировании, чем на целенаправленных действиях и мыслях. В души коммунистов закрадывался “яд сомнения”: “Сумеет ли мы продержаться известный, может быть долгий срок, до победы мировой революции? Куда пойдет кривая нашего развития за этот период: вперед к социализму, или назад – к капитализму?” [Ленинские... 1926, с. 7–8]. Большевицкий “священный трепет за судьбу революции” сменился на “неверие в наше будущее”, определявшееся Бухариным как “ликвидаторство наших дней” – “тип собачьей старости, который идейно родственен дезертирству” [Бухарин, 1924, с. 3–9]. Дальнейшая эволюция этих настроений, связанная с отказом от внутривнутрипартийной демократии, ставила мыслящую часть партии в ситуацию, когда, по выражению А. Иоффе, “не остается ничего другого, как пустить себе пулю в лоб” [Письмо... 1927, с. 149]. О том, что это решение о самоубийстве было вызвано не только его морфинизмом, но отражало общие настроения в “ленинской гвардии”, свидетельствует появление в официальной пропаганде термина “философия упадочничества” [Ярославский, 1927, с. 135–139].

Разрушение обратных связей между обществом и революционной властью отражало, с одной стороны, радикальный характер социальных изменений – отказ от исторической традиции, формирование новых стереотипов и форм поведения (выраженных в языке эпохи), с другой – культурный шок, дерегуляцию и атомизацию социальных структур, примитивизацию сознания [Сорокин, 2010]. Коллективный аутизм большевистской элиты – стремление поддерживать убеждения, переставшие соответствовать действительности, – был связан с неспособностью к адекватному объяснению реальности, но одновременно – с удовлетворением потребностей большевиков в сохранении идентичности. Следствием растущей оппозиции общества новому режиму стало сворачивание публичной политики и возрождение архаических (коллективистских и патерналистских) стереотипов и политических практик, выдвигание насилия и политического экстремизма как доминирующего способа социализации.

### **Террор как метод социализации и кровавая круговая порука**

Революционный террор может быть определен как способ разрушить противоречие между утопией и реальностью с помощью устрашения, осуществляемого путем массированного применения насилия. В основе террора лежит социальная фобия – тревожное расстройство, характеризующееся устойчивым страхом перед определенными социальными ситуациями. Если тревога – общая реакция на ожидаемую или предполагаемую опасность (вытекающую из прогнозов классовой теории), то страх – реакция на непосредственную опасность, присутствующую в данный момент и связанную с конкретными актами сопротивления. Страх (как эмоциональное состояние, возникающее в присутствии или предвосхищении опасного или вредного стимула) имеет двойственную природу и характеризуется одновременно желанием избежать негативных последствий или нападать на противника. Этот подход позволяет объяснить такие особенности Красного террора, как чрезвычайно абстрактный (идеологический) характер его обоснования; масштабы осуществления, охватывающие, по существу, все когнитивно значимые группы общества; социологически детерминированный выбор его жертв; отсутствие прямой корреляции интенсивности применения насилия и степени оказываем-

мого сопротивления; тотальность и безжалостная последовательность его применения; специфические функции террора в консолидации новой социальной общности.

Масштабы, функции, этика и даже своеобразная эстетика террора изучены С. Мельгуновым [Мельгунов, 1990]. Но его когнитивные механизмы четко представлены самими большевиками. Разъясняя подчиненным суть Красного террора, М. Лацис требовал от них отказаться от жалости к врагам, оставить роль “плакальщиков и ходатаев” и поставить дело на поток – “мы уже не боремся против отдельных личностей, мы уничтожаем буржуазию как класс”. Этому должны соответствовать методы террора: “Не ищите в деле обвинительных улик о том, восстал ли он против Совета оружием или словом. Первым долгом вы должны его спросить, к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, какое у него образование и какова его профессия. Вот эти вопросы должны разрешить судьбу обвиняемого. В этом смысл и суть Красного террора” [Лацис, 1918, с. 2]. Во имя грядущего “Царства коммунизма”, которое предполагалось утвердить в мировом масштабе уже через год, от большевиков требовался “еще один бурный натиск”, исключавший проявление слабостей, к которым относились “мещанская добродетель, жалость, боязнь общественного мнения, упущения (соседство) и т.п. рядовые явления” [Лацис, 1918, с. 5–7]. В приказах чрезвычайным комиссиям рекомендовались такие методы, как система заложников, отъем имущества Церкви и помещиков, захват квартир бежавших контрреволюционеров, поощрение доносов, выдача раненых белогвардейцев из госпиталей [Приказы... 1918, с. 10–11]. В опубликованных списках расстрелянных фигурируют основные адресные группы террора – офицеры, чиновники, духовенство, казаки, представители всех оппозиционных партий, но также крестьяне, солдаты, интеллигенты, даже студенты и вообще лица, “имевшие антисоветскую литературу” [Списки... 1918, с. 12–13]. Для деятелей террора его смысл состоял в навязывании обществу большевистских представлений в условиях Гражданской войны, когда нет возможности разбирать степень виновности, мотивы и анализировать формальные доказательства вины задержанных, но требуется осуществление подавления в чистом виде [Лацис, 1921]. Все эти направления террора отнюдь не исчезли с окончанием Гражданской войны, но превратились в систематическую и планомерно организованную практику большевистских карательных учреждений, в конечном счете приведшую к истреблению самих большевиков-чекистов [Симбирцев, 2008].

Вполне осознанно в основы уголовного законодательства вводилась категория политических преступлений. Давалась чрезвычайно широкая трактовка контрреволюционных преступлений, включавшая не только активные действия, направленные на “свержение, подрыв или ослабление” советской власти, но и намерения такого рода, интерпретировавшиеся как экономический саботаж и контрреволюционная агитация, под которые легко можно было подвести любые формы критики произвола и беззакония [Основы... 1926, с. 11]. В этом контексте отрицались традиционные представления состязательного правосудия, в частности инквизиторское предположение А. Солнца убрать из судебного процесса обвинителя и защитника, сосредоточившись “на качестве следственного аппарата” [Реформа... 1928, с. 75]. Общим ориентиром становился закон о подозрительных Французской революции: “Ты подозрителен, и этого достаточно, чтобы принять против тебя репрессивные меры”. “Что же, – спрашивал обвинитель на политических процессах Н. Крыленко, – этот принцип вызовет противоречие или возмущение в пролетарских кругах? Нет. Вызовет противоречие в нашем сознании? Нет. И этот правильный принцип уже в достаточной степени внедрен в сознание масс”. Исходя из этого, он предлагал своеобразное соединение ломброзианства и марксизма в уголовном праве, в широкой трактовке понятий “социально опасных действий” (включавших всякое инакомыслие) и соответствующие “меры социальной защиты” (от смертной казни до “воспитательно-политических мер” к врагам общества). “Полное отрицание принципа дозирования репрессий, – заявлял он, – вот на чем мы прежде всего настаиваем” [Крыленко, 1928, с. 13–19]. Вся логика этого “правового” развития ретроспективно укладывалась в три этапа – разрушения права в период “военного коммунизма”, отступление и нового наступления с позиций “советского права” [Стучка, 1927, с. 4].

Безжалостность большевиков (как и других террористических движений) была способом преодоления социального невроза (комплекса исторической и психической неполноценности) – реакцией на предшествующие фрустрации, выражением чувства мести, вообще стремления к уничтожению раздражающего культурного многообразия. Все большевики, вспоминала Е. Бош, знали о стремлении Ленина к “беспощадному подавлению” всех врагов революции [Воспоминания... 1924, с. 173]. Когда в присутствии В. Адоратского еще в 1905 г. перед Лениным был поставлен вопрос, “как быть со слугами старого режима” и “каков будет В.И. в роли Робеспьера”, тот “полушутя наметил такой план действий”: “Будем спрашивать, – ты за кого? За революцию или против? Если против – к стенке, если за – иди к нам и работай”. Этот ответ вызвал скептическое, но оказавшееся пророческим замечание Н. Крупской: “Ну вот и перестреляешь как раз тех, которые лучше, которые будут иметь мужество открыто заявить о своих взглядах” [Воспоминания... 1924, с. 97]. Эти черты представлены в фанатичной агрессивности Ленина, “умевшего ненавидеть врагов революции”, глаза которого, по воспоминаниям В. Антонова-Саратовского “светились и великой скорбью и великой жестокостью”, так что у собеседника “пошли мурашки по спине от его взгляда” [Воспоминания... 1924, с. 189].

Функции террора как инструмента социального конструирования состояли, во-первых, в подавлении воли общества к сопротивлению; во-вторых, в создании особых табуированных зон идеологического контроля, связанных со стремлением очертить символическое пространство вокруг новой власти почти в буквальном смысле полинезийского слова “табу”, означающего священный, неприкосновенный характер сакральных объектов и обычаев, предназначенных для религиозных церемоний и запрещенных для профанированного повседневного использования; в-третьих, в фиксации определенных идеологических стереотипов путем доведения их до жестких, автоматически применяемых категорий; в-четвертых, в стимулировании мобилизационного импульса “образа врага” (в виде контрреволюционных элементов); в-пятых, консолидации самой большевистской элиты, спаянной кровавой коллективной поручкой. В целом террор являлся воплощением “грубой силы” (как противоположности современной научной эвристики) – такой методики решения задач, которая применяется, когда все возможные варианты теоретически уже испробованы или все возможные пути решения проверены и отвергнуты.

Легитимация террора включала псевдонаучные аргументы, связанные с классовой теорией, в рамках которой “являющееся отвратительным в руках соответствующего реакционного правительства, насилие оказывается священным, необходимым в руках революционера” [Луначарский, 1921, с. 4]. Другой аргумент включал апелляцию к историческому опыту, прежде всего Французской революции, где террор, однако, был вовремя остановлен и не стал, в отличие от России, основой консолидации новой политической системы, парализовав нормальные правовые институты на все время существования советской власти. В связи с этим большевистская печать говорила об исторической ограниченности французских революционеров, проявившейся в непоследовательной организации и результатах террора. Якобинский клуб, считали идеологи большевизма, не был партией – “не имел ни программы, ни устава, ни правильных отношений центра с местными отделениями”, “объединил вокруг себя людей весьма разношерстных в политическом отношении”, что стало роковым для “руководителей якобинцев, отправивших в конечном счете друг друга на гильотину...” [РКП(б)... 1923, с. 3–4]. Полагая, что их участь будет иной, большевики отвергали не только позиции либеральных критиков террора (как А. Олар), но даже тех левых авторов, которые (как А. Матъез), признавая его закономерность в качестве временной меры, делали вывод, что якобинский террор задержал развитие демократии в Европе, по крайней мере, на столетие [Фридлянд, 1931, с. 100–105]. Политическим аргументом в пользу сохранения террористических методов управления после Гражданской войны служила не только опасность реставрации старого порядка, но и предотвращения бонапартизма, о котором

действительно мечтали как либеральные, так и социалистические критики большевизма [Социалистические... 1923, с. 52–61].

Внутреннее противоречие террористической логики большевизма состояло в том, что разрушая традиционные моральные и правовые нормы социальной организации, тотальный террор не содержал никаких внутренних ограничений, последовательно охватывая все общество и уничтожая гарантии безопасности самих “рыцарей террора” и даже его “чернорабочих”. Его суть выражается в психологии понятием “амок”, означающим острое маниакальное возбуждение, сопровождающееся стремлением убивать.

*(Окончание следует)*

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Адоратский В.* Об идеологии // Под знаменем марксизма. 1922. № 11–12.
- Баммель П.* Сумерки идеалистической философии // Печать и революция. 1922. Кн. 7.
- Берлин И.* Русское народничество // *Берлин И.* История свободы. М., 2001.
- Бубнов А.* Политические иллюзии НЭПа на ущербе // Коммунистическая революция. 1922. № 15 (39).
- Бухарин Н.* О ликвидаторстве наших дней // Большевик. 1924. № 2.
- Варга Е.* Программа Коммунистического интернационала // Коммунистическая революция. 1923. № 4 (43).
- Венедиктов А.В.* Организация государственной промышленности в СССР. Т. 1 (1917–1920). М., 1957.
- Виттфогель К.* Геополитика, географический материализм и марксизм // Под знаменем марксизма. 1929. № 2–3, 6–8.
- Волков-Пепоянц Э.* Метаморфоза и парадоксы демократии: политическая доктрина большевизма (истоки, сущность, эволюция, альтернативы: 1917–1929). Кн. 1–2. Кишинев, 1993–1995.
- Воспоминания о Ленине // Пролетарская революция. 1924. № 3 (26).
- Геллер М., Некрич А.* Утопия у власти. М., 2000.
- Деборин А. Г.* Лукач и его критика марксизма // Под знаменем марксизма. 1924. № 6–7.
- Деборин А.* Революция и культура // Под знаменем марксизма. 1925. № 7.
- Залкинд А.* Культурная революция и культура умственной работы // Коммунистическая революция. 1928. № 3.
- Зиновьев Г.* Философия эпохи. Л., 1925.
- Институт выборов в Советском государстве 1918–1937 гг. в документах, материалах и восприятии современников. М., 2010.
- Итоги философской дискуссии // Под знаменем марксизма. 1930. № 10–12.
- Как ломали НЭП. 1928–1929. Т. 1–5. М., 2000.
- Карр Э.* История Советской России. Большеви́стская революция 1917–1923 гг. М., 1990.
- Когнитивная история. Концепция–методы–исследовательские практики. М., 2011.
- Корнилов К.* Современная психология и марксизм // Под знаменем марксизма. 1923. № 1.
- Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919–1921 гг.: “антоновщина”. Тамбов, 1994.
- Кронштадт. 1921. М., 1997.
- Кронштадтская трагедия 1921 года. Документы. В 2 кн. М., 1999.
- “Круглый стол”: модернизация в России и Китае в сравнительной перспективе // Российская история. 2012. № 3.
- Крыленко Н.* Принципы переработки Уголовного Кодекса РСФСР. Доклад на заседании Коллегии НКЮ от 24.05.1928 г. // Революция права. 1928. № 3.
- Лацис М.* Красный террор // Красный террор. Еженедельник Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией на Чехословацком фронте. Казань, 1918. № 1.
- Лацис (Судрабс).* Чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией. М., 1921.
- Ленин В.* О значении воинствующего материализма // Под знаменем марксизма. 1922. № 3.
- Ленинские заветы и съезд партии // Большевик. 1926. № 1.
- Луначарский А.* Свобода критики и революция // Печать и революция. 1921. Кн. 1.
- Мальцев К.* О советском кино // Коммунистическая революция. 1928. № 3.
- Мельгунов С.П.* Красный террор в России 1918–1923. М., 1990.

- Национализация промышленности и организация социалистического производства в Петрограде (1917–1920 гг.). Т. 2. Док. № 114. Л., 1958 .
- Невский В.* Нострадамусы XX века // Под знаменем марксизма. 1922. № 4.
- Овсянников А.А.* Идеино-теоретическое наследие лидеров большевизма. М., 1997.
- Организация “Сибирской крестьянской республики” // Обвинительное заключение по делу о базаровско-незнамовской контрреволюционной организации. Новониколаевск, 1923.
- Основы уголовного законодательства Союза ССР и Союзных республик (доклады гг. Крыленко и Винокурова) // Власть Советов. 1926. № 20.
- Письмо А. Иоффе // Большевик. 1927. № 23–24.
- Письмо тов. Троцкого // Под знаменем марксизма. 1922. № 1–2.
- Приказы Чрезвычайным комиссиям // Красный террор. 1918. № 1.
- Протоколы Президиума ВСНХ. Сборник документов. Декабрь 1917–1918 гг. М., 1991; 1920 г. М., 2000.
- Профсоюзы Москвы. М., 1975.
- Рейснер М.А.* Интеллигенция как предмет изучения в плане научной работы // Печать и революция. 1922. Кн. 1.
- Рейх В.* Диалектический материализм и психоанализ // Под знаменем марксизма. 1929. № 7–8.
- Реформа советского уголовного процесса // Революция права. 1928. № 2.
- РКП(б): внутривластная борьба в двадцатые годы. Документы и материалы. М., 2004.
- РКП(б) и революция (к двадцатилетнему юбилею партии). Передовая // Коммунистическая революция. 1923. № 6 (45).
- Розенталь И.С.* Большевизм // Общественная мысль России XVIII–начала XX в. М., 2005.
- Рютин М.* О лозунге равенства // Большевик. 1926. № 4.
- Сибирская Вандея. Вооруженное сопротивление коммунистическому режиму в 1920 г. Новосибирск, 1997.
- Симбирцев И.* ВЧК в ленинской России 1917–1922 в зареве революции. М., 2008.
- “Совершенно секретно”: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 годы). Т. 1–10. М., 2001–2010.
- Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. 1918–1939. Документы и материалы. В 5 т. Т. 1–3. М., 2000–2003.
- Сорокин П.А.* Социология революции. М., 2010.
- “Социалистические” идеологи бонапартизма // Коммунистическая революция. 1923. № 2 (41).
- Социокультурное основание и смысл большевизма. Новосибирск, 2002.
- Списки лиц, расстрелянных согласно постановлению центральной фронтальной следственной комиссии // Красный террор. 1918. № 1.
- Стучка П.* Три этапа Советского права // Революция права. 1927. № 4.
- Судебный процесс над социалистами-революционерами (июнь–август 1922 г.). Подготовка. Проведение. Итоги. Сборник документов. М., 2002.
- Тахтарев К.М.* Наука об общественной жизни (социология). Пг., 1919.
- Фридлянд Ц.* “Казус Матъеза” // Борьба классов. 1931. № 1.
- Фриче В.М.* Социология искусства. М., 1926.
- Ярославский Ем.* Философия упадочничества // Большевик. 1927. № 23–24.
- Brinton С.* The Anatomy of Revolution. New York, 1952.
- Pirani S.* The Russian Revolution in Retreat, 1920–24. Soviet Workers and the New Communist Elite. London, 2008.
- Walzer M.* The Revolution of the Saints. A Study in the Origins of Radical Politics. London, 1966.